

## НЕКОТОРЫЕ АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОБЩЕГО И СРАВНИТЕЛЬНО-ИСТОРИЧЕСКОГО ЯЗЫКОЗНАНИЯ

(размышления над страницами сборника W. Mańczak.  
*Linguistique générale et linguistique Indo-Européenne*)<sup>1</sup>

Вышеупомянутый обобщающий сборник, в котором воспроизведены публикации разных лет, был любезно прислан мне автором, краковским романистом Витольдом Маньчаком. Предлагаемая вниманию читателей рецензия является, таким образом, обзором 50-летнего творчества польского лингвиста, исследовательский опыт которого, надеюсь, послужит хорошим уроком для многих из нас. Нужно много времени, чтобы осмыслить причудливую знаковую систему под названием язык, попытаться отделить истинное от ложного, правильное от ошибочного, достоверное от пустого...

Сборник статей написан на хорошем французском языке, что вызвало у меня приятное ощущение некой сопричастности проф. В. Маньчака к славной французской лингвистической школе.

В предисловии к изданию В. Маньчак обращает внимание читателей на то, что сборник его статей разных лет посвящен утверждению двух принципов общего и индоевропейского языкознания:

1. Суждение, подтвержденное данными статистики или эксперимента, может считаться истинным.

2. Невозможно представить, чтобы некое изменение, которое никогда не имело места в историческую эпоху, могло бы произойти в доисторическую эпоху языка.

Первый раздел книги «Общее языкознание» (с. 9–72) открывается сюжетом, посвященным фундаментальной проблеме лингвистики — критериям истинности. Сюжет этот был впервые опубликован в 1992 г.

По мнению В. Маньчака, фундаментальной проблемой современной лингвистики является отсутствие критериев истинности суждений в данной науке. Эта тема представляется автору своеобразным табу, а сам термин *критерий истинности*, как он полагает, вообще никогда не употреблялся лингвистами, в чем нельзя полностью согласиться с уважаемым профессором. Доказательству фундаментальных положений современного языкознания всегда уделялось много внимания, в наиболее развитых национальных традициях выработалась и устоялась специфическая терминология, были опубликованы и добротные труды на эту тему, к примеру, «Вероятностное обоснование в компаративистике» академика Б. А. Серебрянникова<sup>2</sup> или статьи по общему языкознанию Л. В. Щербы<sup>3</sup>, Э. А. Макаева<sup>4</sup> и В. К. Журавлева<sup>5</sup> в отечественной традиции. Судя по отсутствию ссылок на подобные издания, они не попали в поле зрения уважаемого автора. Поэтому у читателя этой книги в дальнейшем нередко возникает

невольное ощущение «изобретения велосипеда» или «открытия Америки». То и дело восклицаешь: «Да это же давно известно!»).

Далее В. Маньчак описывает систему оценки истинности тех или иных положений языкознания, сложившуюся в европейской лингвистике. Лингвистов не столько интересует верификация высказываемых положений, сколько то, высказаны ли эти положения «авторитетами», разделяются одним или несколькими авторитетными лингвистами. Если некое положение сформулировано известным авторитетным лингвистом и разделяется большинством, оно становится догмой. Существует и своеобразная иерархия лингвистических догматов, в основании — догматы, поддерживаемые неисчислимым количеством авторитетов на протяжении веков, на поверхности — догматы, выдвигаемые одним отдельным авторитетным лингвистом на протяжении нескольких лет. Эта система истинности суждений представляется проф. В. Маньчаку порочной, ненаучной, средневековой. И вот почему. С одной стороны, эта система вполне вписывается в общую систему традиционной «европейской» экспертной оценки, которая также базируется на мнении «авторитетных» лиц, имеющих «реноме», привлечение которых основано не на объективных принципах, а на основании неких расплывчатых представлений идеологического, партийного, классово-сословного, национально-конфессионального и т.п. характера (извечного деления на «своих» и «чужих»). С другой стороны, европейская наука, освободившись из тесных ориентальных форм идеологии, неизбежно вынесла из прошлого и ориентальный «средневековый» догматизм. Тут можно и согласиться с уважаемым автором. Но даже в этой гибридной системе верификации выдвигаемых положений языкознания имеется начало недогматической оценки истинности суждений. С одной стороны, с течением времени догмы, не отвечающие реальности, постепенно отбрасываются, уходят из жизни; быстро забываются, увы, и сами «авторитеты». С другой стороны, догматы должны разделяться большинством лингвистов, то есть критерием истинности догмы является все же некоторая, пусть и опосредованная, но все-таки «общественная» практика.

Именно о ней проф. В. Маньчак ведет подробно речь на с. 10–11. Он утверждает, что именно практика дает жизнь истинным теориям и приговаривает к смерти ложные. Поэтому практика является самым совершенным критерием истинности. Против этого едва ли кто теперь будет возражать. Остроумные примеры из области фармацевтики и архитектуры выдают в проф. В. Маньчаке многоопытного лектора. Однако полностью согласиться с утверждением автора на с. 11 о том, что «к несчастью, практика не играет никакой роли в лингвистике» никак нельзя.

Столь же нарочита история о том, как мнение, сформулированное несколькими дилетантами-гуманистами в 1435 г. во Флоренции, превратилось в многовековую догму. С тех пор это мнение было многократно пересмотрено, детализировано, и, в сущности, оставлено в анналах истории языкознания. История лингвистики нового времени представляет множество свидетельств отказа от некоторых лингвистических догматов, значитель-

ной корректировки многих положений языкознания именно под давлением реальностей жизни и общественной практики.

Далее В. Маньчак пишет: «Так как практика, к несчастью, не вносит коррективы в их мнения, лингвисты могут прибегнуть только к двум другим критериям истинности: статистике и, за редким исключением, к эксперименту...» (с. 11). И далее приводит некоторые примеры применения этих критериев истинности положений языкознания.

1 пример (с. 12–14) — проверка истинности 6 «законов аналогии», сформулированных Е. Куриловичем в 1949 г. и переформулированных В. Маньчаком в 1958, 1963 и 1978 гг., при помощи статистических данных. Из приведенных данных следует, что более соответствует лингвистической реальности закон аналогии № 4 в формулировке В. Маньчака. Остальные «законы аналогии» Куриловича либо ошибочны, либо сформулированы столь невнятно, что не подлежат верификации данными лингвистической статистики.

2 пример (с. 14) с опровержением гипотезы Й. Шмидта 1890-г. о существовании шестидесятеричной системы исчисления в и.-е. праязыке вполне убедителен. Правда, решить эту проблему можно и без привлечения данных о соотношении форм и частотности употребления числительных, пользуясь методиками этимологического анализа, внешней и внутренней реконструкции.

3 пример (с. 14–15) действительно показывает применимость аргументации, основанной на статистических данных частотности словоупотребления, в деле объяснения феномена предпочтения употребления форм наст. времени и индикатива во франц. кондиционалисе.

8 пример (с. 15) весьма показателен. Семантическая эволюция слов и изменение значения связаны как с частотностью их употребления, так и с размером языкового сообщества. При заимствовании слова чаще действует тенденция сужения значения в новом языковом обиходе, вызванная пониженной частотностью его употребления и не зависящая сильно от размеров языкового сообщества. Тут бы лучше выглядели примеры заимствований из небольших языков типа голландского в большой язык типа русского, но и примеры заимствований из французского в немецкий (примерно в два раза более емкий по числу носителей) также удовлетворительны.

11 пример (с. 16): утверждение слависта З. Голомба (1973) о том, что все праславянские слова на \*x- начальное являются заимствованием из иранских языков, безусловно, ложное. Верифицировать его при помощи статистики германских заимствований на \*x- в франц., румын., абсолютно бесполезно. Берусь утверждать, что решить эту проблему можно и без привлечения данных лингвистической статистики. Достаточно методов внутренней реконструкции и внешних сравнений. Праславянские архетипы на \*x- почти все восходят к и.-е. прототипам на \*s-, \*sk-, \*ks-. И даже такой очевидный иранизм (по мнению большинства) как \*xata может оказаться продолжением собственно диал. и.-е. \*skapta / \*s-kōp-tó-, и не восходить к вост.-иран. \*kata- (из и.-е. \*kŕtō-). Число действительно заимствованных

слов на \*x- незначительно, и это преимущественно старые германизмы типа \*хуѣа. Даже такие формы как \*хлѣбъ и \*хѣлмъ нельзя с абсолютной уверенностью считать германизмами в праслав., так как для них можно предложить альтернативные этимологические решения с s-mobile: \*sklaib- и \*skulmn-.

Метод опоры на данные статистики заимствований в немецком языке не работает и в случае с иранскими заимствованиями в польском, так как никто не может точно предсказать, сколько заимствованных существительных, глаголов и прилагательных останется в дальнейшем потомке современного немецкого языка через 2000 лет. Количественное соотношение разных заимствованных частей речи может измениться самым кардинальным и причудливым образом. Так что вполне возможно, что сохранится больше глаголов, а не существительных.

Пример 12 (с. 16) также недостоверен. Чтобы ни следовало из статистического сопоставления частотности употребления числительных в разных современных языках, данные соотношения не в состоянии установить точно значение этрусского *ša*. Установить значение этого числительного можно только на основании внятного двуязычного контекста. Поэтому все «статистические» потуги напрасны.

Пример 13 (с. 16–17) применения эксперимента для установления истинности утверждения о том, что слова подразделяются на ударные и безударные, вызывает невольную иронию. Зачем вся эта возня с карточками и каламбурами в современных языках? И без того совершенно ясно, что в зависимости от просодической системы данного языка (силовой, музыкальной и т. д.), от интонационного контура синтагмы и проч. зависит правильная формулировка подобного положения. В др.-греч. языке с его музыкальным ударением даже многие артикли, предлоги, частицы (проклитики, энклитики) имели разные виды тонов и вписывались в общий контур синтагмы, меняя при этом свой тон. Другой случай — классическая латынь, в которой, видимо, было комбинированное музыкально-силовое ударение, многие нюансы которого теперь от нас ускользают (господствует мнение о силовой природе лат. ударения). В итал., франц., нем., польск., рус. и мн. др. все слова скорее подразделяются на слабоударные и сильноударные и также непременно вписываются в просодический контур синтагмы данного языка. Да еще, к тому же, фразовое ударение и т. д. Этот пример применения эксперимента как критерия истинности лингвистического суждения совершенно неудовлетворителен.

Второй сюжет книги посвящен нерегулярному фонетическому развитию слов, вызванному частотностью употребления (с. 19–27). В этом сюжете проф. В. Маньчак обстоятельно обосновывает свое любимое положение, согласно которому наряду с регулярным фонетическим развитием и развитием по аналогии, третьим фактором, определяющим изменение формы слова, является нерегулярное фонетическое развитие, вызванное частотностью употребления слов. Это обобщение автор настойчиво разрабатывал в ряде публикаций (1969, 1977, 1987, 2001).

Прежде всего, возражаю против такой исключительности: под действием частоты употребления слова претерпевают не только «нерегулярные», но и регулярные и аналогические фонетические изменения, и любые другие. Чем более употребительно слово, тем больше изменений фонетических, морфологических, просодических, семантических и т. д. оно претерпевает. Говоря языком образным, слова подобны монетам: наиболее употребительные монетки, проходя через сотни тысяч рук, стираются быстрее, чем редко вращающиеся в денежном обращении. Об этом писали многие авторитетные лингвисты прошлого, это всем известно.

Второе возражение касается самого лингвистического материала, на обработке которого проф. В. Маньчак строит свои рассуждения. Все примеры из английского и французского языков, приводимые В. Маньчаком, вовсе не относятся к нерегулярным или иррегулярным с точки зрения исторической фонетики и морфологии этих языков. Все они, за редким исключением, — результат именно регулярного фонетического развития. Просто все они претерпели большее количество разного рода регулярных, аналогических, просодических, семантических изменений, нежели другие, вероятно, в результате более частого употребления в речевом обиходе. Поэтому основной тезис уважаемого автора так и не получил обоснования на языковом материале.

По моему мнению, нерегулярные фонетические изменения произошли в таких праслав. словах как *\*dъska*, *\*syть*, *\*tisъ* и др. Ибо в результате регулярного фонетического развития ожидалось бы формы *\*\*dъsk-* (ср. лат. *discus*, нем. *Tisch*), *\*satъ* (ср. лат. *satis*), *\*\*tosъ* или *\*\*tasъ* (ср. лат. *taxus*). Наверняка, подобные редкие случаи имеются и во франц. (*père ~ parrain*), и в англ., и в др. языках. И, они, похоже, вызваны какими-то иными причинами, так как указанные иррегулярные праслав. рефлексy и.-е. прототипов едва ли относятся к высокочастотной лексике.

Тут мы наталкиваемся на еще один подводный камень, о который разбивается корабль умозаключений проф. В. Маньчака. Камень диахронический. Ведь высокочастотное употребление какого-либо слова, имеющего признаки нерегулярного фонетического развития, в современном языке вовсе не гарантирует такую же высокую частоту его употребления в далеком прошлом. В древности это слово могло быть и на крайней периферии употребительности.

Некоторые положения В. Маньчака, высказанные попутно в этом сюжете, можно принять не как универсалии, а как фреквенталии языковых изменений.

В целом, для языков, прошедших этап креолизации, относительно верна формула: если некое слово стало слишком кратким в результате частотного употребления, оно замещается более длинным выражением (с. 20). То же справедливо и в отношении другого вывода: если какая-л. морфема, слово или группа слов оказались слишком длинными в условиях высокочастотного употребления, то они могут укоротиться... (там же).

В аргументации автора укажу на слабые места.

Аргумент 1 (с. 21). Подавляющее большинство слов, претерпевших нерегулярное фонетическое развитие (понимай, значительное фонетическое развитие) вследствие высокочастотного употребления, входят в тысячу наиболее употребительных слов данного языка. Статистические данные совр. франц. языка (86%) свидетельствуют в пользу этого положения. Но данные русского языка и родного автору польского языка будут свидетельствовать, скорее всего, против этого обобщения. Что уж говорить о древних языках: санскрите, др.-греч., латыни?!

Аргумент 2 (с. 21): из двух дублирующих форм, форма с нерегулярным фонетическим развитием (понимай, значительными фонетическими изменениями) более часто употребительная, нежели регулярная. Вывод сделан на материале все того же французского языка. Но аналогичный вывод может не подтвердиться на материале англ., исп., итал. языков, ареально близких французскому. Что уж говорить о немецком, польском или русском.

Аргумент 3 (с. 22) ничего принципиально нового не добавляет. Ясно, что формы презенса индикатива актива ед. ч. более употребительны, нежели другие, а следовательно, могут претерпеть значительные фонетические изменения в некоторых языках, но обязательно во всех.

Аргумент 4 (с. 22–24) преимущественно иллюстративный, на примерах англ. и франц. языков. Исчезновение глайда *w* в англ. числ. *two* можно достаточно убедительно объяснить артикуляционной ассимиляцией в позиционных условиях. Нет необходимости прибегать к частотности употребления слова в данном случае.

Аргумент 5 (с. 24–25) совершенно неубедителен. Все виды ассимиляции, диссимиляции, метатезы, эллипсиса, гиперкоррекции, экспрессивных и паразитических приставных звуков невозможно объединить в понятие иррегулярного фонетического развития вследствие высокочастотного употребления только на основании межъязыковых параллелизмов. Тут, скорее, можно было бы говорить о типичных, фреквентных, в редчайших случаях — универсальных видах уподобления, расподобления, перестановок, падежня, редукции, экспрессивных вставок звуков, т. е. использовать данные языковой типологии. Но и в этом случае, не стоит упускать из виду все особенное, частное, индивидуальное в исторической фонетике и морфологии конкретного языка. Фонетические изменения могут оказаться вполне регулярными в силу закономерностей данной исторической фонетики и не быть вызванными высокочастотным употреблением.

Аргумент 6 (с. 25) — иллюстративный на материале инфинитивов франц. языка, может быть верным только в отношении этого самого языка, и может оказаться сомнительным в отношении других языков.

Завершает этот сюжет предпринятая проф. В. Маньяком в ряде публикаций (1974, 1975, 1987) попытка этимологии романских глаголов типа франц. *aller*, прованс. *ana*, исп. *andar*, итал. *andare* и проч. в духе этимологии А. Потта 1852 г. Попытка, надо сказать, неубедительная, так как совершенно не учтен диахронический фактор. Удивительным образом проблема генезиса гл. *aller* решается без опоры на все засвидетельствованные формы

романского, ст.-франц., сред.-франц. языковых состояний. Автору даже не приходит в голову выяснить частотность употребления этого глагола (или других заменяющих его глаголов) в прошлом. Свой вердикт автор выносит только на основании высокой частотности употребления этого глагола в современном французском языке.

Положения этого сюжета повторяются и обильно иллюстрируются на материале «Введения» О. Семереньи (с. 90–97). Отмечу примеры «нерегулярного фонетического развития вследствие высокочастотного употребления» на с. 92—95, которые вызвали у меня сомнения: праслав. рефлекс *-ь* на месте финального *-т* или *-п* словоизменительных форм (причина — едва ли частотность употребления, а скорее, особенный регулярный переход просодического признака на уровень фонемы); превращение и.-е. *\*gh* в др.-инд. *h* считается вполне регулярным; сокращение долготы гласных, особенно в безударной позиции, столь же закономерно, сколь и редукция кратких гласных в аналогичной позиции; перебой *m/b* (с. 93) относится к фонологическим фреквенталиям в разных языковых семьях и связан часто встречающимися артикуляционными сдвигами (назализация губного, небного или заднеязычного смывного: *b ~ m, d ~ n, g ~ ŋ*). Поэтому нет никакой необходимости столь подробно аргументировать тезис о таком перебое в падежных окончаниях вследствие высокочастотного употребления, как это делается автором в специальном разделе «Происхождение окончаний на *\*-m-* в балтийский, славянских и германских языках» (с. 104—107).

В языковых примерах отмечу некоторые досадные ошибочные утверждения:

Во франц. *toi* — две, а не три фонемы, так как [*wa*] — восходящий дифтонг, рассматривающийся как одна фонема! Также и в нем. *auf* — две фонемы, а не три (с. 90): дифтонг *au* — одна фонема, к тому же рассматривается как долгий гласный. Может быть, автор имел в виду не фонемы, а графемы? Тогда все верно.

Франц. суф. *-ois* является регулярным (!) продолжением лат. суф. *-ensis*, а к германскому суф. *-isk-* никакого отношения не имеет.

Англ. *go* не является примером фонетического иррегулярного развития вследствие высокочастотного употребления (усечения), а восходит к и.-е. прототипу *\*ghā*. Совершенно регулярный рефлекс!

Следующий большой сюжет книги озаглавлен «Природа языкового родства» с. 28–58. В этом сюжете проф. В. Маньяк опровергает положение Лудольфа (XVII в.!) о том, что языковое родство определяется не по словарному запасу, а только по грамматике. Уважаемый автор противопоставляет этой устаревшей догме свое умозаключение: языковое родство доказывается на уровне корня слова и путем подсчета слов в параллельных текстах. Этому была посвящена большая публикация профессора в 1992 г. Может быть, это актуально для польской лингвистики, но в отечественной традиции это уже давно пройденный этап сравнительно-исторического языкознания. Позволю себе не согласиться с уважаемым автором и в целом и в частности, отвергнуть его итоговое умозаключение о предпочтитель-

ном методе установления истинного языкового родства (см. с. 41).

По моему глубокому убеждению, языковое родство констатируется наиболее достоверно и точно на основании комплекса регулярных соответствий на фонетическом, морфологическом, лексическом уровне сопоставляемых языков. Только такой комплекс регулярных соответствий является необходимым и достаточным условием для констатации языкового родства. Всякое однобокое обоснование языкового родства, будь то на уровне только фонетики, или на уровне грамматики, или на уровне корня, неизбежно приводит к ошибочным, а в лучшем случае, к относительно истинным, приблизительным определениям.

Именно на таких однобоких, конечно, необходимых, но недостаточных, основаниях и сделаны «парадоксальные» выводы проф. В. Маньчака о родстве некоторых языков на с. 28–35.

Во-первых, методически совершенно неприемлемо доказательство языкового родства на основании сопоставления небольших параллельных отрывков текстов, к тому же переводных, к тому же из области тоталитарной, унифицирующей религиозной традиции. Эти сравниваемые отрывки из Евангелий крайне неподходящий материал для доказательства языкового родства, как и разноязычные переводы древнееврейских молитв, некогда использованные в подобных целях. Это слишком специфические тексты, в них слишком много искусственного, волюнтаристского, нарочитого, универсально-безличного. Вопреки мнению уважаемого автора, лучше уж использовать словари, чем параллельные отрывки косноязычных и невнятных переводных религиозных текстов в деле сопоставления лексики сравниваемых языков.

Во-вторых, современный этап компаративистики предполагает большую убедительность целно-лексемных, а не корневых сопоставлений. Вероятностная обоснованность целно-лексемного сравнения (всего комплекса корней, аффиксов, инфиксов, флексий сопоставляемых слов) намного выше, чем корневого. Это в последние двадцать лет вполне осознано лингвистическим сообществом и вошло в практику не только сравнительно-сопоставительных, но и этимологических, и даже ономастических исследований. Поэтому столь настойчиво проводимая линия автора на реанимацию корневых сопоставлений едва ли встретит сочувствие в среде компаративистов и этимологов.

В третьих, методика сравнения и сопоставления лексики из словарей без учета языковой конвергенции, описанная проф. В. Маньчаком на с. 39–40, очевидно порочна и неприменима в деле доказательства языкового родства. Неучет лексических проникновений, заимствований из других языков в рассматриваемом языке неизбежно приведет к ошибочным или парадоксальным заключениям о языковом родстве. Проф. В. Маньчак не заметил, что подобная методическая неловкость затрагивает и столь любезную его сердцу корневую систему языка. Если не учтены лексические заимствования в словаре сравниваемых языков, то и корневые сопоставления приведут к неизбежно ошибочным выводам.



Кроме того, совершенно ускользнула от автора сама проблема соотносительности явлений языкового родства и языковой конвергенции. Применима ли к языкам типа пиджин или креол методика исключительно корневых или даже лексико-семантических сопоставлений? Думаю, нет. В данном случае применима только методика комплексного сопоставления всех, доступных наблюдению, уровней языка. Вывод о языковом родстве может, в таком случае, базироваться на данных фонологического и морфемного уровней языка, если лексико-семантический уровень представлен преимущественно заимствованной лексикой, а малый и большой синтаксис претерпели революционные изменения. Могут быть случаи, когда вывод о языковом родстве вообще невозможен (когда фонетика неузнаваема, лексика целиком заимствованная, а синтаксис перестроен совершенно).

Я склонен отчасти согласиться с несколько утилитарным, но, в сущности, верным определением объекта лингвистики проф. В. Маньчака на с. 43: «В действительности, лингвистика имеет вполне конкретный объект исследования, как и прочие точные науки: он состоит из (разнообразных) письменных и устных текстов». Ибо лингвисты действительно развивают свои теории и гипотезы на базе разного вида текстов. Абсолютно беспредметные лингвистические спекуляции обречены на забвение.

На с. 43 читаем: «Очевидно, что, к примеру, старославянский более индоевропейский язык, чем хеттский, в котором обильно представлены слова неиндоевропейского происхождения»; или: «Очевидно, что немецкий язык более германский, нежели английский, в котором представлено больше заимствованных слов из французского, нежели в немецком». При опоре на сопоставление всего комплекса разноуровневых фактов языковых систем сравниваемых языков, в том числе морфем и слов первой тысячи, подобные заключения не будут звучать столь категорично. Хеттский окажется столь же индоевропейским, сколь и старославянский, а английский столь же германским, сколь и немецкий.

Из обсуждаемого сюжета напрашиваются некоторые выводы, которые могут оказаться полезными и для читателей. А именно:

1) В деле констатации языкового родства двух или более языков необходимым и достаточным условием является комплексное сопоставление всех доступных наблюдению уровней языковой системы (фонологического, морфологического, лексико-семантического, иногда даже фразеологического). Пальма первенства традиционно отдается морфемным сопоставлениям.

2) При сопоставлении фактов лексико-семантического уровня языков необходимым и достаточным будет сравнение, по меньшей мере, первой тысячи наиболее употребительных слов, так как среди них будет неизбежно преобладать «исконная, унаследованная», а не заимствованная лексика. Т. е. следует использовать частотные и этимологические словари. Именно эта методика применима к креолам в деле определения их языкового родства.

Следующий сюжет книги озаглавлен «Подтверждается ли деление слов на ударные и безударные?» (с. 48–51). Уважаемый автор еще раз утверждает

ет, что традиционное деление слов на не несущие ударения (прежде всего артикли, местоимения, предлоги и союзы) и на несущие ударение (другие части речи) ложное, потому что оно опровергается омонимичными словосочетаниями типа *à voir — avoir*. О схоластическом характере этой дискуссии уже сказано достаточно.

В сюжете «Природа супплетивизма» (с. 51–58) проф. В. Маньчак утверждает, что супплетивизм представляет собой частный случай общего закона, применимого ко всем областям языка. А именно: «Часто употребительные языковые элементы, как правило, суть более дифференцированные, чем менее употребительные языковые элементы». Это положение он иллюстрирует примерами из романских языков: глухие согласные более употребительны и дифференцированы, нежели звонкие; свистящие более употребительны и дифференцированы, нежели шипящие; чистые гласные более употребительны, нежели назализованные; дентальные согласные — более употребительные и дифференцированные, чем велярные и лабиальные; строчные буквы более употребительны и дифференцированные, чем заглавные; индикатив более употребителен и дифференцирован (имеет 6 временных парадигм), чем субъюнктив (4 парадигмы) или императив (2 парадигмы); презенс более употребителен и дифференцирован, чем имперфект или футурум; формы единственного числа более многочисленны и дифференцированные, чем множественного или двойственного; формы 3 лица — чем остальные, актив — чем пассив и т. д. Так называемые «неправильные» глаголы 1-й тысячи наиболее употребительных слов франц. (и англ.) языка имеют больше дифференцированных форм, нежели второй-шестой тысяч.

Из области словообразования: наиболее употребительные термины родства, обращений и домашних животных чаще имеют супплетивные формы м. и ж. р. Менее употребительные — чаще образуют формы ж. р. при помощи суффиксов, а малоупотребительные — вообще не образуют отдельных форм ж. р.

Из области синтаксиса (?): личные местоимения более употребительны и дифференцированы (имеют много супплетивных форм), нежели существительные (сомнительное наблюдение).

Все эти обобщения основаны преимущественно на материале романских языков. Я сильно сомневаюсь в их универсальной природе.

Но против основного тезиса В. Маньчака (супплетивизм вызван высокой частотностью употребления языковой единицы) можно выдвинуть несколько антитезисов. В частности, некогда предлагалось иное решение проблемы и.-е. супплетивизма (а также шумерского супплетивизма): унаследованные архаичные «исконные» супплетивные языковые формы — наследие конвергенции древних диалектов праязыкового состояния, например, родоплеменных говоров или так называемых «языка жен» и «языка мужей». Образно говоря, диахрония против синхронии...

В следующем сюжете «Существуют ли пустоты (языковой системы)?» (с. 59–62) проф. В. Маньчак опровергает расхожее мнение о том, что суще-

стует универсальная тенденция заполнения пустующих мест фонетической системы, на материале славянских языков. На основе синхронического исследования списков звуков в разных славянских языках, он приходит к выводу, что характерной чертой (всех!) фонологических систем является асимметрия, а не симметрия. Уважаемый автор склонен распространять это обобщение и на другие уровни языковой системы и формулирует следующий закон (!): «Языковые элементы более частотного употребления, как правило, более дифференцированы (формально), нежели менее употребительные» (с. 62).

Следующий сюжет книги «Языковая периферия не более архаична, чем языковой центр» (с. 63 и след.) посвящен теме, которая несколько раз затрагивалась и О. Н. Трубачевым («О центре и периферии языкового ареала»). В. Маньчак усомнился в «общем мнении», что периферийные идиомы языкового ареала демонстрируют более архаичный характер, нежели идиомы языкового центра, и решил проверить его на более широком языковом материале. При этом, как и обычно, вне его внимания оказались важные языковые уровни (фонологический, морфологический). К моему сожалению, его выводы целиком основаны исключительно на лексико-семантическом уровне сравниваемых языков. Сравнив количество слов классического латинского, сохранившихся в 4 романских языках, уважаемый автор определил, что в итальянском больше всего архаизмов (380), поэтому к нему неприложим термин языкового центра. А историческая языковая периферия, представленная испанским (324 архаизма), французским (260) и румынским (182) не отвечает требованиям, предъявляемым к языковой периферии.

Я готов принять справедливую критику В. Маньчака в отношении спекулятивных обобщений М. Бартоли, сделанных на основании всего нескольких языковых примеров. Но методику сопоставления параллельных отрывков переводных религиозных текстов принять всерьез никак невозможно. Тогда уж лучше опереться на материалы этимологических словарей, что проф. Маньчак и сделал в 1991 г. Ему удалось установить, что этимологических эквивалентов насчитывается 7498 в итальянском, 7114 в испанском и 3564 в румынском. Это свидетельство не опровергает мнения о сохранении большего количества лексических архаизмов на языковой периферии, как полагает проф. Маньчак (см. ниже). Если можно было бы сюда же присовокупить результаты сопоставления на предмет архаичности фонологических, морфологических, фразеологических уровней языковых систем романских языков, то это опровержение было бы не столь категоричным. Для меня совершенно ясно, что словозменительная и словообразовательная системы испанского языка действительно архаичнее итальянского, сохраняют множество пережитков (особенно в глагольной системе) латинского языкового состояния.

В целом, на данный момент, не могу признать общепринятое положение о языковом центре и периферии убедительно опровергнутым во всех совокупных трудах В. Маньчака на эту тему. Его однобокая аргументация

может быть и необходима, но явно недостаточна. Кому-то придется проделывать большую работу по сравнению всех доступных наблюдению уровней языковых систем романских языков, чтобы добиться большей ясности в вопросе центра (нескольких центров?) языковых инноваций и архаизирующей периферии романского языкового ареала.

Между тем, проф. В. Маньчак, признав «норму» М. Бартоли ложной, пришел к простому выводу: «В действительности, хронология играет решающую роль в процессе (распространения инноваций) и сохранения архаизмов: области, колонизованные или ассимилированные в языковом отношении раньше, являются более консервативными, нежели области, колонизованные и ассимилированные позднее» (с. 67). Поэтому испанский, французский и румынский являют больше примеров языковых инноваций, чем итальянский, так как Испания, Галлия и Дакия были завоеваны, колонизованы и ассимилированы позднее Италии (-200, -50 и +100 соответственно). А нижненемецкий более архаичен, чем шведский потому, что германизация распространялась с юга на север. Литературный польский более консервативен, нежели кашубские диалекты, потому что славянизация прибалтийских побережий произошла позднее, чем бассейн верхней и средней Вислы. На этом простом выводе проф. Маньчак и окончил свой сюжет о языковом центре и периферии.

Однако его обобщение также не отвечает реальности. Рассмотрев этимологические данные разных романских языков, обнаруживаем явные противоречия.

Так, оказывается, в каталонском сохраняется этимологических пережитков меньше (6985), чем в испанском (кастильском) (7114) и португальском (7159). При этом хорошо известно, что Испания Тарраконенсис была завоевана и колонизована римлянами много раньше Лузитании. В данном случае дальняя языковая периферия (португальский) оказалась более консервативна, чем периферия ближняя (каталонский) безотносительно времени своего возникновения.

Далее, провансальский сохранил 6560 латинских этимонов, меньше, чем французский, — 6871 (существенная разница — более 300 единиц!), при этом хорошо известно, что Провинция (Галлия Тогата) была завоевана и колонизована римлянами в 125 г. до н. э., а Галлия Барбата и Бельгика едва после 58 до н. э. Вновь дальняя языковая периферия оказалась более консервативной, нежели близкая, и вновь вопреки хронологическому фактору!

Еще парадоксальнее данные сардинского языка (5333 этимонов), развитие которого началось еще в 237 г. до н. э., почти одновременно с возникновением италийских провинциальных говоров, предков итальянского (7498 этимонов), и намного раньше остальных романских. Сардинский оказывается менее консервативным, чем каталонский (развивается с 226 г. до н. э.), провансальский (125 г. до н. э.), французский (58 г. до н. э.) и даже ретороманский (15 г. до н. э. — 6318 этимонов). Вновь хронология уступает каким-то другим факторам языкового развития.

Обобщение В. Маньчака удовлетворительно подходит только для румынского (едва после 100 г. н. э.), в котором меньше архаизмов и больше инноваций, чем в языках, начавших свое развитие раньше. Его дальняя периферийность при этом явно противоречит принципу сохранения архаизмов на периферии языкового ареала. Но в данном случае, как, собственно говоря, и в случае с французским языком, совершенно оставлен без внимания фактор креолизации языков.

Итак, прихожу к выводу, что время распространения языка на новых территориях не является исключительно определяющим фактором в процессе сохранения архаизмов и появления инноваций в новых дочерних языковых ареалах. Закономерность В. Маньчака необоснованна и не может служить «констатацией, очень важной для этногенетических исследований» (с. 67). По моему мнению, как уважаемый польский лингвист, так и многие другие романисты поныне не осознали сущностного факта: центром языковых инноваций романского ареала является только гражданская община Рима, а не вся территория Италии, которая относится к языковой периферии наряду с Францией, Испанией, Португалией, Тиролем, Далмацией и Румынией. Поэтому, нет ничего удивительного в том, что итальянский оказывается в одном ряду с консервативным португальским и кастильским (крайняя западная периферия романского ареала!). В общем, остается справедливым наблюдение: на языковой периферии действует тенденция сохранения архаичных форм. Сколь бы консервативным ни оказался итальянский язык в отношении этимологически исконного словарного состава, это не делает его ближе, родственнее подлинному центру языковой инновации, чем другие романские языки. Соотношение архаизмов и инноваций всех уровней языковой системы любого романского языка определяется не временем завоевания и колонизации (романизации) ареала, а качественными и количественными характеристиками языковых субстратов, характером языковой ситуации, обстоятельствами языковой гибридизации (креолизации), обстоятельствами и продолжительностью билингвизма и т.п.

В следующем сюжете «Природа имен собственных» (с. 68–71) проф. Маньчак усомнился в истинности определения, унаследованного от стоиков: «Имена собственные имеют индивидуализирующий характер, в то время как аппеллятивы обозначают классы феноменов». Это определение, согласно автору, противоречит реальности: имена типа *Жан, Дюран, Парижанин, Эльзасец, Француз* или *Европеец* обозначают не одного индивида, а множество индивидов, иногда миллионы. Призрачна и «индивидуализирующая» функция географических наименований. Множество топонимов повторяются (ср. греч. *Инах, Нуса, Херсонес, Понт, Боспор, Александрия, Селевкия* и т. д., лат. *Августа Колония*, тюрк. *Карадаг*). В. Манчак критически смотрит на 10 других определений сущности имен собственных в их отличии от имен нарицательных и приходит к выводу, что «наилучшим решением этой проблемы было бы признать, что отличие имен собственных и нарицательных состоит в том, что аппеллятивы, в принципе,

переводимы с одного языка на другой, в то время как имена собственные, принципиально, непереводаемы» (с. 69). Это сомнительное определение уважаемый автор иллюстрирует выборками непереводаемых на польский имен собственных из статьи в «Фигаро» за 09.04.2004. При этом по ходу дела выясняется, что некоторые (около 4%) этнонимы, топонимы, хоронимы все-таки имеют нормативные переводные эквиваленты в польском (с. 70).

Сразу же замечу, что националистическая практика некоторых прибалтийских стран свидетельствует против данного определения. Имена собственные, отчества, фамилии, национальности не только переводимы, но переводятся в обязательном порядке на язык титульной нации. Против этого определения свидетельствуют также многочисленные примеры осознанного калькирования в разных языках наиболее устойчивых географических названий данного региона. В качестве примера приведу лишь незначительную толику топонимических калек из Северного Причерноморья разных эпох и языков: скиф. или индо-иран. Ναύαρς (<\*Nav-var-) — греч. Νεάπολις; индоар. *Coreto Maeotis* — греч. Τάφραи — слав. *Перекопъ*; индоар. *Тукавдитаи* — слав. *Копыль*; индоар. Σιττάκη — тюрк. *Köprüli (Kupnuli)* — слав. *Мостовская*; скиф. *Possidima* — индоар. *Asada, Asandi* — тюрк. *Егер-оба, Экимчек* — болг. *Седлото*; скиф. *Hypacyris* — слав. \**Krivъjъ-rogъ* или \**Търгать-rogъ*; греч. ἀλοπέριον — лат. *Salitis* — тюрк. *Тузлук*; тюрк. *Сюрюк-кая* — болг. *Шилестата карана*; греч. Πόρος — тюрк. *Бугаз* и т. п.

Итак, признак непереводаемости имен собственных с языка на язык, весьма условен, и совершенно не характеризует сущность собственных имен. Вопрос остается открытым...

Второй большой раздел книги проф. В. Маньчака, озаглавленный «Индоевропейское языкознание», открывается сюжетом «Критика теории ларингалов» (с. 73–81).

Теоретическими источниками ларингальной теории (я бы применял термин гипотеза) В. Маньчак полагает: 1) гипотезу о сонантических коэффициентах Ф. де Соссюра, 2) гипотезу семитолога Мёллера о преимущественном родстве семитских и индоевропейских языков и подмене сонантических коэффициентов ларингалами (некими гортанными звуками-шумами) 3) гипотезу Е. Куриловича о сохранении в хеттском рефлексов ларингалов (с. 74–75).

Развенчивая опыт объяснения морфологических чередований гласных де Соссюра, уважаемый автор пишет: «Когда мы располагаем только дескриптивными данными единственного языка, очень трудно или даже невозможно обнаружить причину морфологического чередования (иными словами, возможности методики, которая называется теперь «внутренняя реконструкция», очень ограничены)» (с. 73). Это положение автор иллюстрирует возможностями толкования чередований в парадигме именного склонения современного польского языка (с. 73–74). Каждому чередованию он находит объяснение без применения сонантических коэффициентов. Пример не вполне корректный, так как объясняются чередования

согласных, преимущественно позиционного происхождения (разного рода палатализации и депалатализации), а не гласных.

Проф. В. Маньяк совершенно убежден в ошибочности попытки Ф. де Соссюра объяснить аналогичные морфологические чередования (гласных) с помощью сонантических коэффициентов (с. 74). Цитируя критическую оценку ларингальной теории в публикации Семереньи (1990 г.), автор приходит к выводу, что «сонантические коэффициенты (нигде) не существовали, кроме как в воображении Ф. де Соссюра» (с. 74). Дальше этого утверждения автор не пошел. Я бы отметил, все же, продуктивную перспективу этого опыта Ф. де Соссюра. Ведь от его сонантических коэффициентов рукой подать до очень удобного обозначения разного рода просодических признаков гласных в духе Л. Г. Герценберга<sup>6</sup>. Поэтому вполне пригодны обозначения типа  $a^1 - a^2 - a^3 - a^4$  или  $e^1 - e^2 - e^3 - e^4$  и т. п. для фонем, давших разные варианты в результате перехода просодических признаков на уровень гласного звука. К моему сожалению, европейская лингвистика не пошла в этом направлении, а загнала себя в тупик («ларингальной теории»). И das Glassperlespiel продолжается уже более полувека.

Для критики концепции Мёллера проф. В. Маньяк прибегнул к цитате из публикации Е. Ляроша (1986, 134): «(Ларингалы) — группа согласных, встречающаяся исключительно в первобытной системе семитских языков, которой они обязаны своим своеобразием... Первое злоупотребление — перенос термина (*ларингал* — А. Ш.) в и.-е. фонологию, которая его не знала, и в которой ему не место. Второе злоупотребление, более тяжелое и отягощенное последствиями, состояло в объявлении ларингалами еще и других фонем, к примеру, сонантов в реконструкции Ф. де Соссюра».

Сам проф. В. Маньяк не прокомментировал эти высказывания. Поэтому я вынужден переформулировать антитезис Ляроша тезису Мёллера: «Перенос группы фонем из семитской фонологии в индоевропейскую методологически ошибочен и совершенно необоснован».

Попытка опровержения самой основы подобного отождествления семитских гортанных призывков и неких гипотетических сонантических коэффициентов Ф. де Соссюра проф. В. Маньяка также выглядит весьма неловкой. Он опровергает гипотезу Мёллера на том основании, что «расстояние между первобытным обиталищем индоевропейцев и семитов столь огромно, что родство этих языков исключается». Ведь прапродина индоевропейцев по В. Маньяку (публикация 1992 г.) — бассейн Одера и Вислы (sic!). Об этом подробнее см. ниже.

Если для постулирования генетического родства и.-е. и семито-хамитских языков действительно нет никаких оснований, то длительные периоды языкового схождения этих языковых семей в ближневосточном ареале хорошо известны. Причем, именно там обособилась не только хетто-лувийская, но и индоиранская, армянская, и, возможно, тохарская группы языков. Некие новые гортанные призывки могли появиться в и.-е. языках ближневосточного ареала из семитских в результате языковой конвергенции, языковой «индукции» (к прим. хетто-лувийская фонетика). Из Оrientsа с

обратными миграциями и.-е. родов и племен (минойцы, кадмейцы, данайцы, финейды) языковое новшество могло попасть в Эгеиду и повлиять на формирование западных и.-е. языков типа греческого, латинского, кельтских, германских. И происходило это в весьма раннее время, по данным истории — с XVIII в. до н. э. Но утверждать, что это новшество затронуло весь ранний индоевропейский языковой ареал было бы опрометчиво.

Итак, подводя итог критики гипотезы Мёллера, можно утверждать, что отождествление группы гортанных фонем семито-хамитской фонологии с группой сонантических коэффициентов и.-е. фонологии Ф. де Соссюра на основании как генетического языкового родства, так и языкового схождения семито-хамитской и и.-е. семей методологически ошибочно.

Критике третьего теоретического компонента ларингальной гипотезы проф. В. Маньчак посвятил больше места в данном сюжете. Прежде всего, он опровергает вывод Е. Куриловича, сделанный на примере 24 хеттских слов, на основании более обширного анализа хеттской лексики (420 слов) в публикации Тишлера (1980 г.). Результаты этого анализа неутешительны для сторонников ларингальной гипотезы. Слова, начинавшиеся на и.-е. краткий гласный *\*e-* имеют 100% рефлексов на *e-* в хеттской лексике, слова на краткий *\*o-* имеют 60% рефлексов на *ha-* и 40% на *a-*; слова на и.-е. краткий *\*a-* дают 53% рефлексов на *ha-*, 34% на *a-* и 12% рефлексов на *he-*. Т. е. нет никаких следов ларингала перед рефлексами и.-е. краткого *\*e-*, нет их и в 40% случаев перед рефлексами и.-е. *\*o-* и в 34% случаев перед рефлексами и.-е. *\*a-*! Отсутствуют следы ларингалов в 78% рефлексов и.-е. долгого *\*ē*, 75% долгих *\*ō* и *\*ā* (см. с. 75). Опираясь на принцип статистического аргумента можно придти к умозаключению, что большая часть рефлексов и.-е. гласных в хеттском языке не свидетельствуют в пользу наличия в нем унаследованного гортанного призвучья перед гласными и после них в и.-е. языке. Скорее всего, как вариация тембра хеттских гласных, так и появление в некоторых случаях приставного (паразитического) *h-* перед начальным кратким гласным или вставного *-h-* после долгого гласного вызвано особенностями перехода и.-е. просодических признаков на уровень вокализма и консонантизма в процессе формирования хетто-лувийского языкового типа. В самом и.-е. языке никаких ларингалов не было. Е. Курилович сделал поспешный и слабо обоснованный вывод, повлекший за собой череду ошибочных продолжений.

Опровергнув, как ему казалось, все три источника ларингальной гипотезы, В. Маньчак нашел еще один аргумент против и.-е. ларингалов. Вот его суть. Анализ рефлексов и.-е. слов или корней, начинающихся с *\*d-*, в немецком языке показывает, что регулярных соответствий (и.-е. *\*d-* → нем. *\*z-*) 98%. Статистический аргумент в пользу очень вероятного существования и.-е. фонемы *\*d-*, регулярно отражаемой в 98% современных рефлексах. Отсюда В. Маньчак делает вытекающий вывод: раз в хетт. рефлексах и.-е. кратких и долгих гласных заметно преобладают чистые гласные (без *h-*, *-h-*), то и и.-е. архетипы были также чистые гласные (без ларингалов). Хотелось бы, чтобы аргументация такого статистического вида получила



поддержку на большем языковом материале.

Следующий шаг в опровержении истинности теории ларингалов — опровержение истинности концепции и.-е. биконсонантного корня (типа CVC) Э. Бенвениста. Проф. В. Маньчак буквально пишет следующее: «В реальности, асимметрия преобладает в языке над симметрией» (публикация 1969 г.); и «Язык, в котором все корни имели бы одинаковую длину столь же маловероятен, как язык, в котором все слова имели бы одинаковое число фонем» (с. 77). Насколько вероятно обоснованы эти положения, трудно сказать...

Критике подверглось и слабое место ларингальной гипотезы, а именно неясность в отношении количества ларингальных фонем в и.-е. праязыке. В разных публикациях на этот предмет было высказано немало противоречащих друг другу мнений. Реконструируется от одного до дюжины ларингалов (публикация Бомхарда 1992 г.). Таких разногласий нет в отношении других согласных фонем. Потому подозрительна сама возможность существования большой группы ларингальных фонем в и.-е. праязыке. Причудливые реконструкции качеств ларингалов (публикация Борецкого 1975 г.) также вызывают обоснованные сомнения в реальности этого явления.

В. Маньчак склонен разделить мнение старой лингвистики о том, что в праязыке было только 2 фрикативных фонемы: \*s и \*h, при чем последняя была сродни густому придыханию, которое имело тенденцию к исчезновению в исторических греческой и романской группах.

Уважаемый автор разделяет мнение А. Камменхубер (публикация 1969 г.) о том, что хеттский язык есть такое же частное и особенное продолжение и.-е. праязыка, как и другие дочерние языки, и не является вовсе первобытным видом этого праязыка. Далее он иллюстрирует это мнение неудачной аналогией с положением болгарского языка среди прочих славянских. Это несправедливо как в отношении степени развития аналитизма, так и в отношении степени сохранности лексического состава.

По моему разумению, хетто-лувийская группа (напомню, что она распадается на хетто-лидийскую и лувийско-ликийскую подгруппы, к ней относят еще палайский, карийский, сидетский, писидийский и проч. анатолийские языки) является не только архаизирующей (сохранение пережитков примитивной и.-е. глагольной и именной систем), но и инновационной. Появление целого ряда языковых инноваций в хетто-лувийских справедливо связывали с чувствительным влиянием хаттского субстрата, хурритского и семитского адстратов, т. е. с фактором языковой конвергенции.

А в случае с предполагаемыми рефлексами гипотетических ларингалов я усматриваю результат как внутреннего развития фонетического уровня хетто-лувийской группы (переход унаследованных и.-е. просодических признаков на уровень вокализма и консонантизма), так и внешнего воздействия инородного языкового субстрата.

Но на этом уважаемый автор остановился и перешел к другому казусу (критика глоттальной гипотезы Гамкрелидзе — Иванова), который не имеет прямого отношения к проблеме ларингалов, и будет обсуждаться ниже.

Следующий сюжет «Еще один аргумент против теории ларингалов» (с. 82–85) примыкает к предыдущему и вполне мог быть инкорпорирован в него. Этот дополнительный аргумент состоит в статистическом анализе соотношения рефлексов предполагаемых ларингалов в виде других согласных и в виде гласных. Методика В. Маньчака состоит в следующем: на материале издания Бикса 1995 г. выходит, что ларигальные согласные намного чаще превращались в гласные (46 случаев), чем в согласные (4 случая). На материале романских и славянских языков проступает совершенно иная картина. В подавляющем большинстве случаев (49 и 50 случаев соответственно) согласные превратились в другие согласные, случаи превращения каких-л. согласных в гласные единичны (1 случай: франц. развитие группы *-ellus* в *-eau*). Вывод таков: в истории реальных языков «в большинстве случаев согласные превращаются в другие согласные» (с. 85). Однако обобщающий вывод самого проф. В. Маньчака нелогичен. Статистический аргумент свидетельствует не о том, что ларингалы не существовали в действительности, а лишь о том, что они не были согласными звуками. Простейший силлогизм: большинство ларингалов превратилось в гласные, большинство согласных превращаются не в гласные, а в согласные звуки. Следовательно, ларингалы не относятся к согласным звукам.

Следующий сюжет второго раздела посвящен апофонии *e/o* в греческом языке (с. 86–89). В. Маньчак в этом сюжете опровергает умозаключение Е. Куриловича (1956 г.) о том, «что и.-е. апофония *e/o* имеет почти исключительно аналогическое происхождение, а не фонетическое». Уважаемый автор пишет: «В действительности, аналогическая эволюция (языка) состоит в большинстве случаев в устранении чередований, в то время как случаи введения чередований этим путем более или менее спорадичны. В свете этих фактов невозможно предположить, чтобы апофония *e/o*, которая свойственна подавляющему большинству корней, суффиксов и окончаний, была почти исключительно аналогического происхождения... Все значительные чередования, появившиеся в историческую эпоху (романских языков) имеют фонетическую природу, поэтому можно утверждать абсолютно уверенно, что и апофония *e/o* также имеет (фонетическое) происхождение». Так как мнение Х. Гюнтерта (1916), который предлагал объяснять феномен апофонии влиянием акцентуации, не показалось автору сколько-нибудь убедительным, В. Манчак предложил в 1960 г. новое решение проблемы и выдвинул два следующих правила:

1. Сначала и.-е. *\*e* превращается в *\*o* перед гласными заднего ряда (*\*a*, *\*o*, *\*u*).
2. Затем, заударное *\*e* превращается в *\*o* перед носовыми или плавными согласными (*\*m*, *\*n*, *\*r*, *\*l*).

Эти правила он вывел на основе анализа лексики текста одной из песен «Илиады». Однако, из приведенной на с. 88 таблицы следует, что эти правила в отношении *e*-вокализма подтверждаются в 361 случае и опровергаются в 98 случаях, а относительно *o*-вокализма соответственно в 66 и 52 случаях. Если придерживаться принципа статистической верификации истинности

суждения, то такие данные не могут служить убедительным подтверждением выдвинутых правил (слишком много исключений из правил!). Это отметил и уважаемый автор, допустив ниже по тексту возможность воздействия аналогии (с. 89) и акцентуации (с. 87). Он утверждает также, что «не следует недооценивать важность того фактора, который мы именуем иррегулярным фонетическим развитием, вызванным высокой частотностью употребления...». Сомневаюсь, чтобы эти слабо обоснованные соображения «внесли вклад в совершенствование сравнительно-исторического метода». Внятного ответа на вопрос о причинах и.-е. апофонии я в этом сюжете не обрел.

Логическим продолжением этого сюжета является следующий, озаглавленный «Первичное окончание первого лица ед. ч. тематических глаголов: \**ō* или \**omi*?» (с. 98–103). В нем уважаемый автор на основе анализа самых разных исторических изменений в системе глаголов и.-е. языков, вызванных, по его мнению, высокой частотностью словоупотребления, а также согласно двум правилам возникновения апофонии *e/o*, пришел к закономерному выводу, что первичным является форма окончания *-omi*. Затем это первичное окончание вследствие высокой частотности употребления сначала претерпело редукцию и падение конечного гласного *-i*, а затем оказавшийся в абсолютном исходе слова носовой согласный вызвал назализацию предшествовавшего гласного (результат предшествовавшей апофонии *e/o*). Еще позже носовой гласный в абсолютном исходе слова утратил назализацию. Таким образом и получились окончания типа праслав. *-ǫ*, греч. *-ω* и лат. *-ō*.

Не могу признать это объяснение убедительным, исходя из главного принципа самого проф. В. Маньчака: высокая частотность употребления — есть причина «иррегулярных» фонетических изменений. Если данные значительные изменения затронули окончания тематических глаголов, то почему не затронули столь же высоко употребительные (если не более!) окончания атематических глаголов, к прим., греч. гл. на *-υυ-μι*? Что помешало редукции и падению конечного *-i*, назализации предшествовавшего гласного и ее последующей утрате?

Подобному объяснению этого феномена со времен Франца Боппа было противопоставлено немало остроумных (и не очень) альтернативных решений проблемы. Мне ближе и понятнее всего объяснение появления в и.-е. двух серий глагольных окончаний (тематических и атематических глаголов) в результате диалектной конвергенции. Иными словами, в период зарождения и.-е. праязыка произошла креолизация неких двух говоров, каждый из которых привнес в новорожденную языковую систему свой вклад, в том числе в систему глаголов.

Отложив следующий сюжет «Прародина готов» (с. 108—118) до предстоящего обсуждения темы происхождения и прародины и.-е. языков, обратимся сначала к двум сюжетам, затрагивающим проблемы и.-е. консонантизма: «Ограничение правила Вернера до интервокальной позиции и происхождение конечного *-s* в германских» и «Приложим ли закон Вернера

к позиции исхода слова?» (с. 118–129), дополненным частью сюжета о ларингалах, посвященной критике «глоттальной теории» (с. 79–81). Начну с последнего.

В. Маньчак относит «глоттальную теорию» Гамкрелидзе — Иванова к таким же «призракам научных пещер» как и «ларингальную теорию» (с. 79). Источником этой ошибочной гипотезы В. Маньчак считает публикацию Р. Якобсона 1957 г., в которой тот усомнился в правильности реконструкции и.-е. консонантизма, утверждая, что «ни в одном языке к паре [t] – [d] не присовокуплена звонкая придыхательная [dh] без того чтобы не имелось еще и ее глухая пара [th]». Уже в 1973 г. Бласт обратил внимание лингвистического сообщества на факт существования реальных языков с серией согласных типа t – d – dh. Это, к примеру, один из австронезийских языков на о-ве Борнео — келабит. Однако, это сообщение не вызвало никакого интереса ученого сообщества и не привело к поиску других подобных языков, в то время как «глоттальная теория» Гамкрелидзе и Иванова, проистекшая из спекулятивного умозаключения Р. Якобсона, была встречена с небывалым энтузиазмом. «В то время как, в реальности, глоттальная теория столь же неправдоподобна, как и ларингальная теория» (с. 79). Реинтерпретация реконструкции и.-е. консонантизма, по мнению автора, основана на небесспорном типологическом умозаключении и на переносе в и.-е. фонологию терминов кавказской фонологии. Кроме того, такая реинтерпретация и.-е. консонантизма превращает историю языков в антитезу их доистории.

Для опровержения этой ошибочной концепции В. Маньчак пользуется статистической методикой. Его подсчеты показывают, что оглушение и озвончение согласных в исторически засвидетельствованных языках в сравнении с реконструкцией и.-е. консонантизма Мейе имели место в 24% случаев, а с реинтерпретацией Гамкрелидзе — Иванова — в 33%. В другом сюжете (с. 122–123) эта статистика дается в более внятном виде. Как следует из таблиц, при сопоставлении традиционной реконструкции и.-е. консонантизма с исторически засвидетельствованными системами согласных, есть дочерние языки, в которых перебоев согласных по звонкости-глухости не было (санскрит, авест., ст.-слав., лит.) и есть языки, в которых было от 1 (ирл.) до 6 (хетт., гот.) и даже 8 (тохар.) перебоев. При сравнении реинтерпретированного и.-е. консонантизма с историческими, выходит, что все языки претерпели от 2 до 8 перебоев по глухости-звонкости: меньше всех армянский (0.5!), затем хетт. и гот. (2), затем тохар., санскр., авест., ст.-слав., лит. (по 4), ирл. (5), лат. (6.5) и греч. (8). В этом уважаемый автор усматривает весомый аргумент. Мне этот аргумент не представляется столь убедительным. Все это в пределах статистического допущения: каждый четвертый или третий дочерний язык претерпел перебой согласных, или все без исключения — что из того? Что это дает в деле верификации правильности реконструкции доисторического консонантизма? Желательно, чтобы реконструкция первобытного консонантизма непротиворечиво объясняла последующие фонетические изменения в дочерних языках. Насколько мне известно, и традиционная трехрядная, и глоттальная трехрядная и старая

четырёхрядная реконструкции и.-е. консонантизма не удовлетворяют этому благу пожеланию. Поэтому принимаю рассмотренный статистический аргумент В. Маньчака за полезный, но явно недостаточный.

Второй антитезис В. Маньчака можно вкратце представить так. Эталонные для глоттальной теории германские и армянский языки уже претерпели и продолжают претерпевать перебои согласных в исторический период. Согласно догмату уважаемого автора (с. 81), языковая история является продолжением доистории. Следовательно, прагерманский и праармянский претерпевали перебои согласных и в доисторический период своего развития. Следовательно, их консонантизм не тождествен первичному и.-е., в то время как в языках, в которых наблюдается преемственность консонантизма (как в индоиранской, балтийской и славянской группах), доисторический консонантизм практически тождествен первичному и.-е. Это умозаключение представляется мне весьма спекулятивным и не слишком-то убедительным (реальность может оказаться сложнее!). Оно требует верификации на базе всей совокупности известных нам языковых материалов и.-е. семьи с желательным подтверждением данными языковой типологии.

Теперь уместно рассмотреть проблему «правила Вернера» в германских языках. По мнению уважаемого автора, это сугубо частный случай не может претендовать на звание универсального закона, поэтому всюду используется термин «правило». Ну что же, это право автора...

В своем первоначальном виде правило Вернера касалось озвончения герм. фрикативных согласных в интервокальной позиции и в исходе слов за исключением случаев, когда они следовали за этимологически ударным гласным (с. 118). К месту вспомнить выражение В. Маньчака на с. 87: «акцентуация также повинна в чередованиях...», т. е. вновь сталкиваемся с просодией как субъектом фонетических изменений. После критического разбора публикаций по этому вопросу В. Маньчак приходит к выводу, что 1) правило Вернера применимо только к интервокальной позиции и 2) конечное и.-е. *-s* осталось без изменений в прагерманском, существовало в историческую эпоху в готском языке, исчезло в западногерманских и претерпело озвончение и ротацизм в скандинавских языках (с. 120). А в целом, все факты, упомянутые Йеспersenом, не имеют никакого отношения к правилу Вернера, а объясняются в большинстве случаев «иррегулярным фонетическим развитием вследствие частотного употребления» (с. 121). У меня вызывает недоумение пример англ. форм типа *son's, sons, sons'* или *comes* как иррегулярного озвончения конечного *-s*. По моему мнению, это простейшая ассимиляция (уподобление двух соседних звуков по звонкости), вызванная тенденцией экономии артикуляционных усилий. Есть, наверняка, и разумное объяснение отсутствию такого озвончения в случае *hence, once*. Частотность употребления тут ни при чем. В. Маньчак заключает первый сюжет о правиле Вернера такими положениями:

«По моему мнению, следует ограничить действие правила Вернера только интервокальной позицией и признать, что конечное *-s* сохранялось во всех словах в прагерманском и готском и в односложных словах в других

герм. языках... 1) В германском, который должен быть определен более как центральный, нежели западный, конечная фонема *-s* пала в многосложных словах. 2) В скандинавском, конечное *-s* превратилось в *-z*, а затем в *-r* в многосложных словах».

Второй сюжет этой тематической группы «Применимо ли правило Вернера к исходу слова?» (с. 124–128) является ответом В. Маньчака на критику Сеиичи Сузуки (публикация 1994 г.). Как критические пассажи Сузуки, так и ответная аргументация В. Маньчака ничего принципиально нового не добавляют. Упомяну лишь здравое суждение японского германиста о том, что оглушение конечного *-s* в готском не нуждается в столь далеко идущем объяснении, так как это явление можно рассматривать как один из видов оглушения фрикативных в исходе слова (с. 125).

В завершении нашего обзора обратимся к циклу сюжетов о происхождении нескольких и.-е. языков и групп языков, а также об и.-е. прародине. Начну с сюжета «Происхождение романских языков» (с. 130–135), наиболее близкого узкой специализации В. Маньчака — романо-германской филологии. Уважаемый автор почему-то полагает, что ветхая концепция изначального билингвизма в древнем Риме по сей день разделяется почти всеми романистами. Развенчанию этого устаревшего представления В. Маньчак посвятил много публикаций. Это выглядит несколько нелепо, так как в отечественной романистике едва ли кто всерьез полагает, что в Риме изначальное бытовало два языка: классическая латынь (синтетический язык) и вульгарная латынь (аналитический язык), а источником итальянского и других романских языков является именно этот аналитический язык римского простонародья. Столь наивное и нереальное представление давно ушло в прошлое. Современная ареальная лингвистика и языковая типология не оставляют места таким примитивным концепциям языковой ситуации. Любые попытки «модернизации» такого примитива (Вянянен 1977; Маррэ-Калл 1994) бессмысленны.

Этому бесспорно ошибочному мнению В. Маньчак противопоставил концепцию Ейсенхардта (1880), Мюллера — Тэйлора (1932), согласно которой романские языки происходят от классической латыни, являются результатом развития единого языка Древнего Рима (с. 131, 134–135). К сожалению, развернутая аргументация концепции происхождения романских языков разбросана по нескольким сюжетам книги В. Маньчака, нередко фрагментарным и энigmatичным. На обзоре и оценке этой аргументации я уже останавливался выше. Стоит добавить несколько слов о публикации В. Маньчака 1991 г. (с. 142), в которой он предложил классификацию романских языков на основе анализа лексических соответствий в параллельных (увы, переводных!) текстах. В результате анализа уважаемый автор пришел к выводу, что существует прямая связь между временем римского завоевания определенной территории и количеством регулярных лексических соответствий появившегося на этой территории романского языка с другими романскими. Представляется приемлемым как сам принцип статистического учета лексических соответствий, так и значительные объ-

емы рассмотренной этимологической лексики (от 3,5 до 7,5 тыс. слов). Но методика сопоставления параллельных религиозных текстов, игнорирование сопоставления других уровней языковой системы, кроме лексико-семантического уровня, трудно отнести к достоинствам данного сюжета. Главное же, что ускользнуло, почему-то от внимания проф. В. Маньчака, — это сами статистические данные, явно противоречащие его же концепции. Повторюсь: оказалось, что рано завоеванные провинции (к прим., Сардиния, Провинция, Испания Тарраконенсис) стали родиной более продвинутых и менее архаизирующих романских языков, а завоеванные иногда столетиями позже (Лузитания, Астурия) стали родиной более архаичных и консервативных идиом. К тому же, относительно поздно завоеванные Галлия Барбата и Реция стали родиной романских языков более консервативных в отношении лексико-семантического уровня своей языковой системы, чем завоеванная столетиями позже Дакия. При том, что революционные перестройки, к примеру, фонеморфологического уровня франц. и румын. языков в чем-то весьма схожи и во многом аналогичны. К тому же, для В. Маньчака так и осталась не проясненным вопрос центра инновация романского языкового ареала. Ведь итальянский язык, потомок языка метрополии, оказался самым консервативным в отношении этимологической лексики, что контрастирует с большей инновационностью ближайшей языковой периферии и меньшей инновационностью дальней периферии (не считая Галлию и Дакию), с одной стороны (это противоречит широко распространенному представлению о большей архаичности периферии), а с другой — ставит под вопрос принцип зарождения инноваций в центре языкового ареала. Справедливее и сам итальянский отнести к явной языковой периферии.

Если исходить из принципа соотнесенности хронологии и статистики лексико-семантических уровней романских языков по В. Маньчаку, выходит, что территории появления португальского и кастильского языков были завоеваны много раньше территорий каталонского, провансальского и даже сардинского. Это противоречит бесспорным историческим фактам.

Кроме того, исследования В. Маньчака в области романского лингвогенеза несколько не прояснили картину соотношения языкового центра и языковой периферии: вопреки общему мнению, исторический центр романского распространения оказывается в высшей степени консервативным. Не говорю уж о том, что в данной серии публикаций В. Маньчак совершенно игнорирует факторы языковой конвергенции, гибридизацию языков. А именно они могли бы многое прояснить в деле истолкования французского, ретороманского и восточно-романского лингвогенеза.

Что остается после обзора сюжетов о происхождении романских языков В. Маньчака? Не ясен центр (или несколько центров?) языковых инноваций, не срабатывает хронологический фактор (не все раннее по времени оказывается более консервативным в отношении лексики), игнорируется фактор языковой конвергенции. Так что, пользуясь методиками проф. В. Маньчака, даже на примере хорошо исторически освещенной романской группы

языков, нам не удастся определить ни источника ее происхождения, ни центра распространения, ни причин специфической аномалии некоторых ее членов.

Пользуясь таким несовершенным методологическим инструментарием, В. Маньчак попытался решить проблемы славянского лингвогенеза и центра славянского распространения еще в своей книге 1981 г. (обобщающая публикация 2004 г.<sup>7</sup>). Вновь статистика лексико-семантического уровня покоится на подсчетах слов в параллельных переводных текстах религиозного характера, что само по себе недостоверно.

Обозрев статистические данные регулярных соответствий лексико-семантических уровней славянских языков, представленных уважаемым автором на с. 143, отмечаем их количественную ровность: во всех славянских языках сохраняется около 3000 этимонов (по данным ЭССЯ, это количество больше в десять раз с учетом приставочных производных). Согласно логике В. Маньчака, из данной таблицы следует, что принятые группировки славянских языков не адекватны: в.-луж. и н.-луж. оказываются в разном языковом окружении, русско-белорусская пара далеко отстоит от украинского, оказывающегося в окружении словенского и нижнелужицкого с болгарским! Из такой статистики проистекают многие «парадоксальные» умозаключения В. Маньчака. Например, на с. 28–29 автор приходит к выводу, что украинский ближе к польскому, чем к русскому (а это противоречит его же собственной статистике — по сохранности этимологической лексики украинский далеко отстоит от польского (с. 143)). Статистическая картина сохранности этимонов выходит очень расплывчатая и в отношении «инновационного» центра и «консервативной» периферии. Как и в случае с романскими языками, следуя логике В. Маньчака, наиболее консервативный в отношении сохранности этимологической лексики язык признается центральным и древнейшим в группе (это, конечно же, польский!). Тогда из какого центра распространялись инновации, откуда шло славянское распространение? Видимо, из болгарского, самого новаторского! Вновь игнорируются данные сопоставления других уровней языковой системы, факторы языковой конвергенции и многое другое.

Мне представляется возможным извлечь следующие выводы из данного сюжета на основе аналогии с более понятным романским ареалом. 1. Центр славянского ареала, похоже, находился вне территории распространения современных славянских языков и уже давно прекратил свою инновационную трансдукцию. 2. Все современные славянские языки, включая «самый древний» польский, являются языковой периферией. 3. Степень сохранности этимологически исконной славянской лексики в современных языках зависит не от времени их обособления от метрополии, а от качественных и количественных характеристик субстратов, обстоятельств языковой гибридизации, обстоятельств и продолжительности билингвизма, эволюции языковой ситуации.

Столь же недостоверны статистические данные лексических соответствий славянских языков с другими и.-е., подробно изложенные уважа-



мым автором в сюжете «Прародина славян» (с. 136–141). Так как в немецком языке на 20 этимологических соответствий больше с польским, чем с литовским (sic!), сделан вывод, что славяне всегда обитали между германцами и балтами (с. 139), на большем количестве соответствий польского с литовским, чем с немецким, сделан вывод, что славяне были ближе к балтам и отделялись от германцев некими иноязычными венетами; 9% количественное превосходство польских соответствий с итальянским над литовскими, дает право говорить о том, что славянские территориально были ближе к романским, чем балтийские; польский оказывается ближе ирландскому, чем литовский; родство польского с прусским большее, чем с литовским на 40 этимонов (с. 140), следовательно, славян от литовцев всегда отделяли пруссы. Из всего этого схоластического начетничества следует закономерный вывод: польский язык всегда находился на территории современной Польши, а он самый консервативный в группе, следовательно «не остается другой возможности, кроме как поместить первобытную прародину славян в бассейны Одера и Вислы» (с. 141). Итак, уважаемый лингвист доказал наконец истинность спекулятивных догадок польских автохтонистов.

Столь же недостоверно доказательство южно-германского происхождения готского языка по данным статистики лексических соответствий в параллельных отрывках религиозных текстов, представленное в сюжете «Прародина готы» (с. 108–117). На простеньком сопоставлении лексических соответствий между готским и другими германскими языками зиждется концепция бóльшего родства первого с верхненемецким, чем с нижненемецким или скандинавскими (с. 110). Как всегда, проигнорированы (даже настойчиво отвергаются на с. 112) свидетельства всех других уровней языковой системы, кроме лексико-семантического, которые, к слову, вопиют даже из самих авторских таблиц (с. 110, 115) и бросают вызов авторским выводам. Анализ конвергентных процессов и межъязыковых контактов, как и обычно, подменен начетнической статистикой лексических соответствий (надеюсь, на уровне этимонов!) с другими европейскими языками. Отсюда последовал банальный вывод о том, что индоевропеизация германского языкового ареала происходила с юга (с. 117), и не столь банальный вывод о том, что готский язык происходит из ареала верхненемецких диалектов. При том, что мне вовсе не чужда мысль о близком схождении готских и верхненемецких диалектов, принять саму аргументацию В. Маньчака я не могу принципиально.

Тут мы достигли сюжета «Прародина индоевропейцев» (с. 142–148), который требует детального обзора. В. Маньчак начал изложение с перечисления «удачно» разрешенных вопросов романского и славянского лингвонеза по мотивам публикаций 1991 и 1981 гг. Выше я уже подробно рассмотрел его методики и постулаты. Далее автор сообщает о том, что подобным образом он препарировал «фрагменты Евангелий на албанском, немецком, армянском, греческом, хинди, ирландском, итальянском, литовском и польском», воспользовавшись «современными (sic!) текстами

для того, чтобы между ними не было хронологических различий» (с. 143). Результаты сведены им в таблицу на с. 144. На основании этих статистических данных он сделал следующие умозаключения (с. 145):

Так как польский язык представляет самое большое число (3337) лексических соответствий с другими языками, он может быть отождествлен с первобытной прародиной и.-е., тождественной с прародиной славян, т. е. — с бассейном Одера и Вислы.

Литовский, немецкий, итальянский, ирландский и албанский по количеству этимонов тяготеют в первую очередь к польскому, в то время как греческий, армянский и хинди — к итальянскому. Поэтому первая группа языков происходит из бассейнов Одера и Вислы, а другие «...и.-е. племена, которые установились в Италии, Греции, Армении и Индии, вышли из одного и того же региона, расположенного на Балканском п-ове» (с. 145)

Прародина индоевропейцев находилась не в Азии, а в Европе, что соотносимо с фактом, что Европа поныне на 97% индоевропейская, в то время как в Азии индоевропейцы всегда оставались в меньшинстве.

Гипотеза и.-е. прародины на Армянском нагорье Гамкрелидзе и Иванова (публикация 1984 г.) недостоверна потому, что армянский язык занимает предпоследнее место по количеству этимологических соответствий с другими языками (1903 ед.), имеет в лексическом составе большое количество иноязычных заимствований, на каждом шагу являет заметное влияние субстрата, а глоттализиция согласных в нем вызвана влиянием кавказских языков. Недостоверна и гипотеза о миграции и.-е. племен из Закавказья вокруг Каспийского моря в Европу (с. 145—146).

В дальнейших статистических сравнениях обращу внимание читателей на брошенное мимоходом замечание В. Маньчака о том, что литовский имеет больше лексических соответствий с армянским, нежели с греческим (что удивляет, но не заставляет уважаемого автора остановиться и задуматься) (с. 146). Он с удовольствием констатирует факт, что армянский являет почти равное количество лексических соответствий с греческим и с итальянским (по 302 и 306 единиц соответственно). Это наблюдение позволяет ему заявить, что предки этих народов, прежде чем поселились в Италии, Греции и Армении, соседствовали некогда на Балканском п-ове. Если бы проф. В. Маньчак припомнил античные этно-генеалогические предания этих народов, то его выкладки не были бы столь сухи. Ведь согласно стойкой традиции, родоначальники армян прибыли вместе с аргонавтами из Фессалии, родоначальник всех греков до одноименного катаклизма обитал в Ахайе Фтиотиде (к югу от Фессалии), а предки римлян были поселены Дием сначала на о-ве Самофракия, а затем, после Девкалионова катаклизма, переселились в Геллеспонт и Троаду. Обо всем этом можно прочитать, но не в Евангелиях...

Далее проф. В. Маньчак сверил лексические данные армянского, греческого, немецкого, итальянского, литовского и русского параллельных отрывков евангелических текстов с этимологическими словарями этих языков. И выяснил, что в русском языке 16 слов неиндоевропейского или

неясного происхождения, в литовском — 35, в итальянском — 54, в немецком — 71, в новогреческом — 169, в армянском — 173. Вместо того, чтобы усомниться в методологической безупречности избранных для лексического анализа текстов (ведь Евангелия, несмотря на эллинистическое койне, являясь плодом западно-семитского лингво-культурного круга, изобилуют чуждыми лексическими, синтаксическими, фразеологическими и проч. вкраплениями), уважаемый автор пришел к выводу: «... армянский, на котором говорят в регионе, где Гамкрелидзе и Иванов помещают прародину индоевропейцев, является наименее индоевропейским, в то время как другие языки, которые выросли на иноязычных субстратах, сохраняют больше слов... индоевропейского происхождения» (с. 147). Это весьма сомнительное наблюдение В. Маньяк полагает весомым аргументом против гипотезы Гамкрелидзе и Иванова. По моему разумению, это вообще не аргумент, даже если полученная статистика сколько-нибудь достоверна. Ведь центр и.-е. инноваций уже давно неактуален, в нем теперь может находиться не только сильно разрушенный и.-е. язык-потомок, но и вообще, неиндоевропейский язык. Если припомнить гипотезу среднедунайской прародины индоевропейцев И. М. Дьяконова, то обнаруживаем, что предполагаемый языковой центр уже около тысячи лет захвачен угорским этносом и языком, а нам дана в ощущениях лишь языковая периферия. Другой пример — древний языковой центр инноваций тюркских языков уже 800 лет находится во владении монгольских этноязыковых групп. Мы можем наблюдать лишь тюркскую языковую периферию...

Еще неприятнее настоятельное внедрение в сознание читателя навязчивой идеи такого вида: «польский — это язык, который предьявляет наибольшее количество слов, имеющих этимологические эквиваленты в других языках» (с. 147). Напомню, сделан он на основе совершенно недосягаемой методики. А если проверить его на базе частотных и этимологических словарей, в объеме хотя бы 1–2 тысяч наиболее употребительных слов каждого языка? Какой язык окажется на перекрестке этимологических изоглосс? М. б., испанский, немецкий, хинди, русский?

В качестве аналогии и иллюстрации к своей концепции висло-одерской прародины всех индоевропейцев В. Маньяк приводит пример угасания антропологических признаков в тюркских языковых сообществах по мере удаления от исторически более ли менее определенной прародины. Автор подводит нас к мысли, что по мере удаления от Восточной Европы удельный вес генетических потомков и.-е. выходцев из бассейна Вислы в восточном направлении сходит на нет по мере наибольшего удаления от предполагаемого центра индоевропеизации. Опирается он на весьма устаревшие антропологические данные (с. 147–148). Автору не известно, что в современной Индии ныне обитает около 200 млн. мужчин, имеющих восточно-европейский гаплотип Y-хромосомы, что, например, в России сейчас проживает около 50–60 млн. мужчин восточно-европейского гаплотипа, а в Польше — только 18–19. Так что и эта аргументация (пусть в качестве иллюстрации) В. Маньяка не срабатывает в пользу его Висло-Одерской

прародины индоевропейцев. В итоге рассмотрения этого сюжета, вновь прихожу к печальному выводу: здесь мы не обрели действительно глубокой и существенной критики ложных гипотез и.-е. прародины, авторская же гипотеза покоится на совершенно недостоверных и необидительных доказательствах.

Венчает книгу сюжет «Балто-славянская общность, существовала ли она?» (с. 149–152). Уважаемый автор полагает, что правильно ответить на этот вопрос можно, используя такое положение: «приняв к сведению, что польский представляет наибольшее число слов, имеющих этимологические эквиваленты в других и.-е. языках, можно прийти к умозаключению, что и.-е. прародина идентична прародине славянской, т. е. — в бассейне Одера и Вислы» (с. 149). Отсюда якобы ясно и непротиворечиво проистекает ответ на поставленный вопрос. Этот ответ, конечно, негативный. «Различие между балтами и славянами состоит в том, что славяне суть потомки той части и.-е. населения, которое осталось в первичной прародине, в то время как балты суть потомки той части и.-е. населения (вместе с предками германцев, италиков, кельтов и т. д.), которая покинула первичную прародину и поселилась на территории, первично занятой неиндоевропейским населением. Свидетельством в пользу этой концепции является факт большей консервативности славянской лексики, нежели балтийской». Далее, как и обычно, приводится статистика, полученная крайне сомнительной методикой. Но даже в этой недостоверной статистике сам автор не обратил внимания на некоторые вопиющие факты, например, на почти равное количество этимологических соответствий хинди с польским и литовским (по 287 и 283 единиц соответственно), или на примерно равное количество таких соответствий хинди, греческого, албанского и армянского с польским, на близкие цифровые значения для количества лексических соответствий армянского с польским и литовским (253 и 231). Другой компаративист быстро припомнил бы еще и фонеморфологические соответствия между этой группой и.-е. языков. Но В. Маньчак обходит эти явления молчанием и вдруг прибегает к несвойственной ему детальной аргументации положений на основе не лексики, а морфологии, синтаксиса и прочих уровней языковой системы (с. 149–150), что в целом — большой прогресс. Хотя надобности в этом нет. Не первый век уже известно, что в балтийских языках ощущается значительное влияние финно-угорского субстрата. Это ясно. Предлагаемая автором аналогия на материале германских языков, показывающая, что в нидерландском и шведском больше слов негерманского происхождения, чем в немецком или готском, ничего нового не добавляет к давно и всем известным фактам: в прусском влияние финно-угорского субстрата меньше ощутимо, чем в литовском, а в последнем — меньше чем в латышском. Но это вовсе не доказательство предположения о миграции балтийских племен из бассейна Вислы в восточную Прибалтику, как думает В. Маньчак, а лишь показатель разных языковых ситуаций в трех ареалах распространения балтийских языков безотносительно хронологии их возникновения.

Столь же недостоверна и дальнейшая аргументация на с. 151. Разная степень влияния финского субстрата в трех ареалах объяснима различиями в качественных и количественных характеристиках этого субстрата. Большая или меньшая степень консерватизма периферийных языковых ареалов, как уже неоднократно говорилось, не зависит напрямую от времени и последовательности заселения их, а от многих других факторов языковой дивергенции, конвергенции, гибридизации и т. д. Большое количество лексических соответствий прусского с польским вполне достаточно объяснять их тесным соседством и разнообразными межязыковыми и культурными контактами. Уважаемый автор даже не задумывается над тем, что, в сущности, балты в его концепции и не удалились очень-то сильно от прародины и славяно-польского континуитета, и донныне пребывают в рамках 30 градуса восточной долготы, т. е. все в той же Восточной Европе. Следовательно, балты должны были быть намного ближе в языковом отношении к славянам, нежели это наблюдается в реальности. Сомнительно и утверждение об исключительной архаичности литовской фонетики среди всех прочих языков (с. 151), и о том, что архаичный характер языка определяется по словарному составу, а не по фонетике, чье развитие иногда причудливо. И аналогия с сербохорватским языком, в фonomорфологическом отношении самом консервативным среди славянских (по мнению В. Маньчака) весьма сомнительна. При этом уважаемый автор или сознательно замалчивает, или пребывает в неведении о факте наличия во Фракии и Вифинии компактных ареалов античной ономастики явно балтийского вида. Это сотни цельно-лексемных соответствий фракийского с балтийскими и праславянским. Проигнорированы и богатые данные палеобалканской и скифской топонимии, имеющие наиболее вероятные цельно-лексемные соответствия в балтийских языках. Прежде он не преминул упомянуть 30 финских гидронимов с территории Литвы и сотни субстратных гидронимов с территории Латвии, но обошел в целом не столь уж затруднительную для его концепции балтийского распространения на северо-восток древнюю гидронимию и топонимию балтийского вида между Днепром и бассейном Волги. О сопоставлении праславянского лексического фонда с балтийским даже речи нет.

Подводя итог знакомства с этим сюжетом книги В. Маньчака, с сожалением констатирую, что никаких новых, сколько-нибудь убедительных аргументов, опровергающих древнее генетическое родство славянских и балтийских языков, в этой книге не обнаруживается.

Завершает книгу библиография (с. 153–162), в которой не найдешь многих фундаментальных трудов по заявленным тематикам, а также фундаментальных этимологических и исторических словарей, совершенно необходимых в изысканиях такого рода.

Обозрев результаты полувекового кропотливого труда краковского лингвиста совершенно необходимо извлечь несколько поучительных выводов из его опыта.

Только то лингвистическое суждение может считаться истинным, ко-

торое подтверждается общественной практикой и опытом, достоверными данными статистики или лингвистического эксперимента. Но методика подсчета межъязыковых лексических соответствий в отрывках параллельных переводных текстов какой угодно религиозной традиции ошибочна и порочна. Ее результаты недостоверны. К тому же, их не следует применять механистически, начетнически и без должного осмысления. Исключительно корневые соответствия недостаточно убедительны и информативны. Необходимым и достаточным представляется межъязыковое сопоставление наиболее употребительной лексики (хотя бы 1–2 тыс., лучше 5 тыс. слов), получаемой из частотных и этимологических словарей. Наибольшую доказательность имеют целно-лексемные сопоставления, в которых можно сравнивать рефлексy корней, аффиксов, инфиксов, флексий, просодию и т.п.

В лингвогенетических исследованиях, выяснении языкового родства, происхождения языков методика механистического подсчета межъязыковых соответствий исключительно лексического состава порочна и недостоверна. Необходимым и достаточным можно признать только комплексное всеобъемлющее сопоставление всех доступных наблюдению и оперированию уровней языковой системы (фонологического, фономорфологического, морфологического, лексико-семантического, в редких случаях — фразеологического, синтаксического и т.п.).

В изыскании первичной прародины и промежуточных прародин данной языковой семьи методика механистического подсчета количества межъязыковых лексических соответствий ничего не дает. В изысканиях такого рода необходимым и достаточным условием является комплексное изучение показаний лексико-семантического уровня языка в соотношении их с внеязыковыми реалиями, изучение всех видов лексических проникновений и заимствований для выявления контактных зон взаимовлияния языков, изучение древнейшей ономастики интересующего ареала, изучение традиционной этногенеалогии по данным мифологии, истории и проч.

Пользуюсь случаем в заключение еще раз выразить Витольду Маньчаку свою искреннюю благодарность за его целеустремленность в поиске истины, в поиске ответов на сложные вопросы общего и сравнительно-исторического языкознания, за критический настрой и стремление всякое положение испытывать на достоверность. Труды его жизни не остались незамеченными, они заставляют думать и искать новые поколения лингвистов.

## Примечания

<sup>1</sup> Witold Mańczak. Linguistique générale et linguistique Indo-Européenne. Kraków, 2008.

<sup>2</sup> Серебренников Б. А. Вероятностное обоснование в компаративистике. М., 1974; Он же. Общее языкознание. Методы лингвистических исследований. М., 1973; Он же. Общее языкознание. Формы существования, функции, история

языка. М., 1970; *Он же*. О материалистическом подходе к явлениям языка. М., 1983; *Он же*. Почему трудно верить сторонникам нестратической теории? // ВЯ, 1983, № 3, 26–37.

<sup>3</sup> *Щерба Л. В.* О трояком аспекте языковых явлений и об эксперименте в языкознании // Известия АН СССР. Отделение общественных наук. 1931, № 1, 113–129; *Он же*. Избранные работы по языкознанию и фонетике. Т.1. Л., 1958.

<sup>4</sup> *Макаев Э. А.* Ларингальная теория // Труды АН ГрузССР, 1957; *Он же*. Давление системы и иерархия языковых единиц // ВЯ, 1962; *Он же*. Проблемы индоевропейской ареальной лингвистики. М.–Л., 1964; *Он же*. Общая теория сравнительного языкознания. М., 1977.

<sup>5</sup> *Журавлев В. К.* Внешние и внутренние факторы языковой эволюции. М., 1982.

<sup>6</sup> *Герценберг Л. Г.* Вопросы реконструкции индоевропейской просодики. Л., 1981; *Он же*. Проблемы акцентологической реконструкции // Сравнительно-историческое изучение языков разных семей. Реконструкция на отдельных уровнях языковой структуры. М., 1989, 29–47; *Он же*. О следах индоевропейской просодики в латинском // ВЯ, 1982, № 3, 68–77.

<sup>7</sup> *Witold Mańczak.* Przedhistoryczne migracje słowian i pochodzenie języka staro-cerkiewno-słowiańskiego. Kraków, Polska Academia umiejętności, 2004.

*А. К. Шапошников*